

БЕГИ ПО МОРЮ,
БЕЛЫЙ ПАРОХОД..



КАРИМ БАЛЫЦ

18+

Карим Бальц

Беги по морю, белый пароход...

«Автор»

2026

Бальц К.

Беги по морю, белый пароход... / К. Бальц — «Автор», 2026

Побеждённый косностью, страхом и человеческой глупостью, земский врач Павел Лобынцев бежит из гиблого Крутобережья в губернский город, надеясь на спасение в цивилизации. Но и там его ждёт лишь другое болото — казённое, бюрократическое, закованное в смертоносные «схемы» главврача Сиверса. На грани отчаяния, среди запахов карболки и формалина, ему является видение: белый пароход, плывущий по невозмутимому тёмно-синему морю. Это образ иного мира, чистоты и порядка. Но чтобы ступить на его палубу, нужно совершить невозможное — вытереть ноги о земной причал, порвав со всем, что держало его в трясине компромисса. Философская проза на стыке гиперреализма и магического реализма о цене профессиональной чести, о выборе между системой и совестью, о том, где кончается медицина и начинается чудо.

Содержание

Глава 2. Позолоченная пуговица октября	9
Глава 3. Вкус методичного поражения	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Карим Бальц

Беги по морю, белый пароход...

Глава 1. Белый пароход на сизом горизонте

Павел Игнатьевич Лобынцев, земский врач, уезжал из Крутобережья в шестом часу утра, когда низкое октябрьское солнце, тусклое, как позолоченная пуговица на потёртом мундире, лишь краем задевало сизый, стёганный тучами горизонт. Он уезжал навсегда, и это знали все: старый гнедой мерин, печально шлёпавший по чёрной каше немощёного тракта; кучер Степан, сидевший сгорбившись, будто под тяжестью невидимого ярма; мокрая ворона на верстовом столбе, равнодушно провожавшая их чёрным бусинчатым глазом. Знал и сам Лобынцев, ощущая в спине не физический взгляд окон, а холодное, неотвязное присутствие своего бывшего дома – теперь просто деревянного сруба с облупившейся щепотью, стоявшего навывкате, как пустая, ослепшая глазница.

Пять лет. Тысяча восемьсот двадцать шесть дней в этом болоте, затянутом сверху серым пологом неба, а снизу – вечными миазмами торфяников и человеческого бессилия. Он приехал сюда молодым, с томиком Гейне в потрёпанном саквояже и с идеями, острыми, отточенными в аудиториях, как только что выправленный ланцет. Уезжал сорокалетним, с потёртым чемоданом, где вместо Гейне лежали неоплаченные счета от аптекаря, полупустая бутылка валерьянки и пачка писем от брата, которые он так и не решился открыть. Единственным ясным желанием было – уснуть и не просыпаться часов так под двенадцать, чтобы хоть во сне отодвинуть встречу с тем, что ждало за пределами этого уезда.

Дорога была мерзкой, беспросветной, соответствующей сезону и состоянию души. Колёса хлюпали в чёрной каше, выворачивая из-под грязи прошлогоднюю, уже окаменевшую солому. Степан молчал, и это молчание было гуще и тяжелее любой беседы. Лобынцев курил папиросу за папиросой, чего прежде за собой не водил, – пытаясь заглушить вкус, поднимавшийся из самого нутра, – вкус тихого, методичного поражения.

Он не спас здесь никого. Вернее, формально – спасал. Сифилитика Гаврилу от гангрены, но тот, получив отсрочку, через месяц запил и сторел в собственной бане, крича в огне так, будто Лобынцев лишь продлил его муку. Принял у бабы Дарьи двойню, но оба младенца, жёлтые, как воск от плохой свечи, умерли к весне от чахотки, которой надышались ещё в утробе. Вырезал аппендицит у станового, и тот, едва встав на ноги, написал на него донос о халатности, ибо Лобынцев отказался выдать ложную справку для тётки – старой картёжницы, желавшей отсудить у соседа сарай.

Но дело было не в единичных предательствах. Дело было в самой ткани этого бытия. Он лечил, а они умирали или, выжив, возвращались в ту же грязь, что и породила болезни. Он прописывал хину, а они пили настойку на пауках и шептали заговоры, глядя на него исподлобья – не со злобой, а с глухой убеждённой, что его наука столь же локальна и условна, как и знахарские прибаутки.

Он пытался объяснить законы гигиены, а они слушали молча, и в их глазах, пустых, как выведенные скорлупки, плавала не злоба и не глупость, а вековая, животная покорность судьбе, холере, осенней слякоти и начальству – чему-то большему и неотвратимому, частью чего был и он, приезжий барин с ножом. Покорность, которая была мудрее его юношеского бунта, ибо знала: всё возвращается на круги своя. Земля сожрёт и известь, и карболку, и самый этот тракт.

В их мире врач не был спасителем; он был лишь ещё одной фигурой в сложном ритуале жизни-смерти, менее важной, чем священник, дающий последнее напутствие, или повитуха, знающая, как обмыть покойника. Умирать под молитвы, в своём углу, в окружении родных – было не просто «частью устоявшегося порядка» – это и был сам порядок, осмысленный и полный, где страданию находилось объяснение, а смерти – приготовленное место. Его же ланцет

вносил в этот порядок лишь хаотичную, бессмысленную надежду, разрыв ткани, где каждый стежок был освящён веком. Он предлагал битву там, где все давно смирились с капитуляцией.

Его мысли, укачиваемые мерной тряской, стали расплываться. С чего-то ему привиделся белый пароход. Это был огромный, ослепительный, как отполированная кость или первый снег на скатерти, лайнер, плавно скользящий по абсолютно плоскому, словно отшлифованному тёмно-синему морю. Ни ряби, ни клочка пены. Лишь белое, гордое судно, разрезающее безмолвную гладь, и густой, басовитый гудок, стелющийся по воде, – звук, полный невыразимой тоски и такого же невыразимого обещания.

Ранее он уже видел этот образ в лихорадочных снах после тридцатичасовых дежурств, в минуты крайней усталости, когда сознание, отказываясь терпеть груз реальности, рисовало мираж иного мира – чистого, упорядоченного, где причины и следствия не расплзаются, как гнилая ткань, где можно просто сесть и плыть – туда, где нет ни вечной грязи, ни этого всепроникающего запаха лука, вони, безнадеги, ни чувства, что бьёшься головой о стену из студня.

– Барин, – сипло кашлянул Степан, не оборачиваясь, будто говорил с воздухом. – А на станции-то, сказывают, заминка. Почтовый с рельс сошёл под Горошином. Ноне до вечера, а то и до завтрашнего полудня никак.

Лобынцев лишь вздохнул, коротко и беззвучно. Даже уехать нормально он не мог. Значит, захолустная станционная изба, пропахшая кислой капустой, махоркой и мышинным помётом. Значит, бесконечные часы под присвист закипающего самовара. Мирок, казалось, цеплялся за него корявыми, но цепкими пальцами, не желая отпустить своего. Не из злобы, а по инерции, с какой тина обнимает затонувшее полено.

На станции «Раздолье» (ирония названия вызывала у Лобынцева чувство какой-то глухой, бессмысленной насмешки) всё было именно так, как он предполагал. Смотритель, маленький, юркий человечек с лицом, как печёное яблоко, суетился, извинялся, сыпал словечком «по случаю», и в этой суете была не забота о госте, а страх перед возможной жалобой, перед любым нарушением своего крошечного, но оттого ещё более ценного порядка. Жена его, женщина с телом добротной комоды и глазами, в которых тоскливое любопытство боролось с апатией, поставила на стол чайник и глиняную чашку с мутным, засахарившимся вареньем.

Лобынцев отмахнулся, лёг на жёсткую, провалившуюся посередине койку, укрывшись потёртым шинельным сукном, и уставился в потолок, по которому ползла трещина, напоминающая очертания неведомого, никем не населённого континента.

Он пытался думать о будущем. О городе Н., где у него был брат-адвокат Сергей, который, вероятно, пристроит его ординатором в земскую больницу. О чистом белье, ванне, газетах. Но мысли, упрямые и тяжёлые, как комья глины, возвращались к прошлому. Не ко всему, а к последнему делу, которое поставило не просто точку, а жирный, кляксовый крест на его крутобережской эпопее. К случаю, который высветил суть конфликта не как борьбу разума с глупостью, а как столкновение двух не просто разных, а взаимно непроницаемых вселенных, живущих по своим, не сводимым одна к другой законам.

Три дня назад к нему привезли купца первой гильдии Ефима Савельича Порохова. Не просто купца, а столпа, туза, чья власть и вес в губернии были столь же монументальны и неоспоримы, как его собственный чудовищный, аневризматически раздутый живот.

Порохов лежал на расшитых золотом подушках в своей спальне, похожей на опочивальню восточного падишаха, и стонал – негромко, но пронзительно, звуком, в котором читался ужас перед немыслимым. Живот был вздут, твёрд, как натянутый барабан, отзывающийся глухим звуком на лёгкий стук. Пульс – нитевидный, рвущийся. Лицо – землисто-серое, с синевой вокруг запавших, горящих лихорадочным огнём глаз. Совершенно очевидный, хрестоматийный случай заворота кишок. Перитонит уже начинался, отравляя кровь. Операция – единственный шанс, призрачный, но всё же шанс.

– Режь, – просипел Порохов, хватая Лобынцева влажной, холодной, как лягушка, ладонью. – Режь, доктор. Все деньги, какие есть... всю лавку... Только жить хочу. Боюсь.

Лобынцев, уже моя руки и раскладывая инструмент, объяснял суть, риски, необходимость немедленного решения. И в этот момент, словно по незримому сигналу, в комнату вошли другие. Сын, плотный, рыжеусый детина с пустыми, словно застеклёнными глазами, в которых читался не страх за отца, а тревога за будущие сделки, за распри в дележе капиталов. Зять, юркий господинчик в пенсне, с вечно заискивающей улыбкой, теперь сменившейся на маску озабоченности, залопотал что-то о желудке, о курином бульоне, о том, что отлежится... Но главное – личный духовник, отец Феофил, с окладистой, неестественно белой, словно из ваты сделанной бородой и масляными, пронизательными глазами, которые видели не тело, а только душу, и то лишь в контексте вечных законов.

Началось. Сын затвердил, как молитву: «На всё воля Божья, батюшка. Не нам дерзать». Зять вторил, путаясь в словах. Но последнее слово было за отцом Феофилом. Он приблизился, положил пухлую, мягкую руку на потный лоб стонущего купца и заговорил бархатным, убедительным баритоном, в котором были и отеческая нежность, и непререкаемый авторитет:

– Ефим Савельич, друг мой сердечный. Зачем сей нож? Зачем сие насилие над плотью, коею и так Господь возмутился за грехи наши? Душа твоя не в чреве, осквернённом неправедной жизнью, а в горнем мире обитать желает. Доверишься скальпелю – умрёшь наверняка, и с грехом на душе, ибо насилие учинил. А помолимся сокрушённо, причастимся – Господь, аще восхощет, помилует. И выздоровеешь ты, душой и телом очистившись, и предстанешь пред Ним не с кровью на руках, а с молитвой на устах.

Лобынцев слушал, и ужас охватывал его не от лицемерия слов – он понимал, что священник искренен. Ужас был от того, как эти слова ложились на подготовленную почву. Он видел, как в глазах Порохова происходит метаморфоза. Физический страх перед болью и ножом, страх абстрактный, навеянный чужим, непонятным миром медицины, столкнулся со страхом конкретным, уютным, вписанным в знакомую вселенную.

В этой вселенной страдание имело смысл – оно было очищением. Смерть имела чин – её предваряли исповедь и причастие. Умирание в постели, в кругу семьи, под молитвы – было частью правильного, богоугодного порядка жизни, таким же естественным, как рождение или свадьба. Врач с ланцетом был в этой вселенной чужаком, почти святотатцем, вносящим хаос в освящённый ритуал перехода. Решение купца было не выбором смерти, а выбором *правильной*, осмысленной смерти. Он слабо оттолкнул руку Лобынцева.

– Уйдите... Батюшка, исповедуйте, причастите... – прошептал он, и в его глазах, помимо ужаса, вспыхнула странная, обречённая ясность, будто он принял не решение умереть, а решение умереть по заведённому чину.

Лобынцев ушёл. Не в ярости, а в оцепенении, отягощённом новым пониманием: он боролся не с людьми, а с целой космологией, с мифом, который был крепче любого скальпеля.

На следующий день Ефим Савельич скончался в страшных муках. А ещё через день сын купца, уже ставший полноправным хозяином лавок и амбаров, намекнул уездному исправнику, старинному должнику Пороховых, что доктор, дескать, мог бы проявить больше рвения, а может, и вовсе... Исправник, человек практичный, вызвал Лобынцева. Не обвинял, нет. Просто, по-мужицки на пальцах, объяснил: «Места тут, Павел Игнатьич, для вас больше нет. Течение, понимаете, противное пошло. Уезжайте, пока тихо. А то ведь народ тёмный, сам знаешь – найдут, за что уцепиться. И мне спокойнее, и вам здоровее».

И вот он уезжал. Побеждённый не болезнью, не человеческой глупостью, а иной, более живучей и цепкой системой – системой, где страх, вера, выгода и вековой уклад сплелись в тугую, неразрушимый узел. Он уезжал, понимая, что его разум, его ланцет и его университетская наука были здесь не оружием, а всего лишь инородным телом, которое местный организм отторгает без злобы, почти незаметно, как отторгает занозу.

Сумерки сгустились быстро. Смотритель принёс коптящую керосиновую лампу. Лобынцев встал, подошёл к запотевшему, холодному стеклу. За ним бушевала настоящая октябрьская ночь: ветер гнул голые, скрюченные ветки ракит, гнал по небу рваные, чёрные тучи.

И вдруг он увидел Его.

На краю поля, за покосившимся забором станционного огорода, где темнела куча бурьяна и старого хлама, стояла фигура. Высокая, невероятно худая, в длинном, до самых пят, одеянии, которое развевалось на ветру странными, неземными складками, будто ткань была не шерстяной, а соткана из самого мрака. Фигура стояла абсолютно неподвижно и, как показалось Лобынцеву, смотрела прямо на его окно. Его, человека науки, трезвого материалиста, прошедшего через трупные залы университета, охватило необъяснимое, примитивное чувство ледяного ужаса. Это не был ни мужик, ни странник, ни ночной сторож. Очертания её были размыты, вибрировали на грани зрения, как будто фигура состояла не из плоти, а из сгустившейся, ожившей темноты.

– Смотритель! – крикнул он, и голос прозвучал спёрто, чужим. – Кто это там, у забора? Дядька лениво подошёл к окну, приложил ладонь ко лбу, пригляделся.

– Где? Никого нету, барин. В темноте-то, поди, столб вам почудился. Или бузина какая. Тенька.

Лобынцев снова, преодолевая сопротивление, посмотрел. Фигура исчезла. Там, где она стояла, теперь колыхалась лишь смутная тень от дикой яблони. «Галлюцинация, – сурово, почти с насилием над собой, сказал он мысленно. – Нервное истощение. Переутомление. Завтра выеду – и всё как рукой снимет. Должно снять».

Он лёг, потушил лампу и долго ворочался на жёсткой койке, прислушиваясь к завыванию ветра в печной трубе – звуку, похожему на далёкий, бесконечно одинокий зов. Ему снова привиделся белый пароход. Теперь он был ближе, и Лобынцев различал на его палубе огоньки – неяркие, желтоватые, но оттого ещё более уютные, обещающие тепло и покой. И до него донёсся тот самый гудок – низкий, протяжный, зовущий. Он даже приподнялся на локте в темноте, настолько реальным, физическим казался этот звук. Но это, конечно, был всё тот же ветер. Просто ветер, бьющий в железо крыши.

Глава 2. Позолоченная пуговица октября

Утром поезд, к его удивлению, уже стоял у низкой деревянной платформы, будто поджидал его – чёрный, запотевший, с угрюмым терпением выпускающий клубы пара в сырой воздух. Циклопический глаз локомотива, тусклый от брызг и грязи, смотрел на мир с немым безразличием. Эта внезапная готовность отъезда показалась Лобынцеву насмешкой судьбы, довершающей унижительный фарс: вчера мир цеплялся за него всеми корнями, а сегодня уже спешил вытолкнуть, словно спеленутого покойника, которого пора нести к месту последнего упокоения.

Он поспешно, почти суетливо расплатился со зрителем, сунул в руку деньги с лихвой – не чаевые, а откуп, плату за освобождение, – и вбежал в вагон. Купе второго класса, слава богу, было безлюдно.

Захлопнув дверь, он прислонился к ней, слушая, как за стеной заскребли и застучали, цепляя вагоны. Когда поезд рванул с места, этот толчок отозвался в нём окончательным обрывом. Он приник лбом к холодному стеклу, наблюдая, как отплывают назад уродливые строения станции «Раздолье», её покосившийся забор, лужи, в которых небо отражалось какой-то густой свинцовой тушью.

Он не чувствовал себя беглецом – беглец спасается *от* чего-то. Он был изгнанником. И разница в том, что изгнаннику некуда возвращаться, и даже место, куда его высылают, не становится пристанищем, а лишь продолжением той же чужой земли.

Путь до города Н. занимал около суток. Время утратило форму, расплзлось тягучей, липкой субстанцией. Он пытался читать старую, мяную газету, но буквы прыгали перед глазами, отказываясь складываться в слова, а слова – в смыслы. Это было чтение слепого: тактильное ощущение шершавой бумаги, запах типографской краски и полное отсутствие содержания.

Он дремал, проваливаясь в короткие, тревожные забытья, где слышались то стоны, то размеренный скрежет колёс, сливавшийся со свистом в ушах. Голова раскалывалась от боли – тупой, давящей, сконцентрированной в висках, будто череп медленно, но верно сжимали в слесарных тисках. Он списывал это на духоту, на угольную пыль, на нервное истощение последних месяцев. Но где-то в самой глубине, под пластами усталости, шевелилась иная, более страшная догадка: это была не болезнь тела. Это была трещина в воле. Последствие того молчаливого, внутреннего отступления, которое он совершил, согласившись уехать, покидая Крутобережье с тихим, постыдным выдохом.

На вокзале города Н., в клубах пара и гари, его встретил брат, Сергей Игнатьевич. Он был на семь лет старше, и эти семь лет легли на него слоями уверенности, плотной, отлаженной жизненной субстанцией. Его борода клинышком, тщательно подстриженная, его быстрые, оценивающие глаза адвоката, привыкшие видеть в человеке не душу, а пакет статей, потенциальных выгод и рисков, – всё это было частью защитного доспеха, в котором он чувствовал себя неуязвимым.

– Ну, Павел, окунулся, значит, в народную гущу, понюхал настоящей жизни? – Брат похлопал его по плечу, и в этом жесте, в бархатном тоне звучала не столько издёвка, сколько снисходительная, почти отеческая жалость человека, который всё давно предусмотрел и для которого чужие иллюзии – лишь наивный курьёз, этап взросления. – Ничего, отдохнёшь, очухаешься. Глупости все эти твои порывы. Устроим. В земской больнице как раз место ординатора освободилось. Спокойное, тёплое место.

По дороге в наёмной карете Сергей говорил спокойно, обстоятельно, водя пальцем в перчатке по конденсату на стекле, будто рисуя варианты будущей жизни брата. Он говорил о преимуществах городского порядка, о важности «найти свою нишу и не высовываться», о том, как

здесь всё устроено. Его кабинет в центре города, куда они заехали прямо с вокзала, пах дорогим табаком, кожей переплётков, стоявшими в сейфе толстыми папками с неясными пометками, и тем особенным запахом формальной, бумажной законности, которая всегда на стороне того, кто лучше знает её извивы.

– Правда, – понизил голос брат, став чуть более деловым, – главврач, Фаддей Лукич Сиверс, человек... старых, проверенных взглядов. Не любит, понимаешь, когда умничают, самодеятельность пресекает на корню. Но ты потерпи, голову не поднимай, освоишься. Лечи по инструкции – и никаких тебе неприятностей. Инструкция – это ведь как закон, Паша. В законе не бывает исключений, иначе это не закон, а произвол. Ты же и сам понимаешь.

В голосе Сергея звучала не просто уверенность, а усталая, тяжеловесная убежденность человека, для которого всякая борьба давно свелась к обходу препятствий, а любые идеи – к поправкам в уставе. Эта бесстрастная мудрость была куда страшнее простого цинизма. Она не оставляла щелей.

Поселился Лобынцев в номере гостиницы «Европейская», которую брат рекомендовал как «вполне приличную». Номер был небольшим, чистым, с высоким потолком в лепнине и окнами во двор-колодец, где даже днём царил зеленоватый полумрак. Первые два дня он прожил в состоянии оцепенения: отсыпался, принимал долгие, почти обжигающие ванны, словно пытаюсь смыть с кожи невидимую липкую плёнку крутобережской грязи и отчаяния.

Он бродил по немощёным, но уже городским, оживлённым улицам, вдыхал знакомый, почти забытый смог – смесь угля, конского навоза и слабого, но ощутимого дыхания прогресса. Казалось, жизнь, пусть и серая, устроенная, но налаживается. Головная боль отступила, уступив место чувству огромной, зияющей пустоты и временного, ненадёжного затишья. Он почти позволил себе поверить, что можно раствориться в этом размеренном потоке, стать винтиком, озабоченным лишь тем, чтобы на его поверхности не появлялось ржавчины.

На третий день, рано утром, он явился в земскую больницу. Здание подавляло своей мрачной монументальностью: кирпичная громада в стиле казарменной неоготики, с узкими, словно бойницы, окнами и островерхими крышами, больше похожая на крепость или на монастырь, но где молятся не Богу, а, похоже, Молоху статистики. Войдя внутрь, он был окутан знакомым, тошнотворно-сладковатым запахом – коктейлем из карболки, йода, тления и человеческого пота.

Главный врач Фаддей Лукич Сиверс оказался маленьким, сухим старичком, сидевшим за огромным, голым письменным столом. Его лицо с острым птичьим профилем и холодными, голубоватыми, как леденцы, глазами, казалось, было лишено не только эмоций, но и самой способности их выражать. Он бегло, не глядя, просмотрел документы Лобынцева, будто сверял номер на ящике с казённым грузом.

– Так-с... Московский университет... – пробормотал он без какой-либо интонации, будто читал этикетку на товаре. – Практика в захолустье... Ладно. Что ж. Пойдѐте в общее отделение под начало ординатора Шмидта.

Он поднял глаза. Леденцовый взгляд вдруг стал пристальным, изучающим, пронизывающим насквозь.

– Вы, молодой человек, наверное, полны идей, верно? Новых методов. Оспаривания авторитетов. Так?

Лобынцев промолчал, чувствуя в вопросе не праздное любопытство, а расставленную ловушку.

– Не потрудитесь отвечать, – Сиверс махнул рукой, и этот жест был полон усталого, почти физического отвращения. – Я их всех видел. Каждый год приходят. С горящими глазами и учебниками свежайшего издания под мышкой. Думают, что мир ждал именно их, чтобы

его перевернуть. Но медицина, коллега, – он произнёс это слово с лёгким, шипящим ударением, – не физика и не философия. Здесь нельзя ставить эксперименты на живых людях. Здесь нет места гению-одиночке. Здесь есть только коллективный опыт, оплаченный страданиями и смертями. Каждое правило, каждый пункт лечебной схемы выстрадан, выверен и куплен дорогой ценой. Вы понимаете? Это не бюрократия. Это – щит. Щит для больного от нашей самонадеянности. И щит для нас – от непосильной, сводящей с ума ответственности. Личная инициатива в нашем деле – это чаще всего авантюра, которую оплачивает пациент. Ваш предшественник, такой же пылкий юнец, решил лечить крупозное воспаление лёгких массивными дозами камфары внутривенно, уверяя, что прочитал об этом у немцев. Трое умерло от эмболии, прежде чем мы его остановили. Он теперь где-то в Сибири, кажется, спился. Схема – это порядок. А порядок, коллега, дороже отдельно взятой жизни. Ибо он сохраняет саму возможность спасти жизни. Ясно?

Лобынцев молча кивнул. Ему было всё ясно, и в то же время – ничего не ясно. Он попал из одного болота в другое. Только это новое болото было неизмеримо больше, глубже и прикрыто не хворостом и тиной, а аккуратной, незыблемой кладкой кирпича и циркуляров. И трясина здесь называлась «системой» – системой, обладавшей своей собственной, чудовищно убедительной и неопровержимой логикой. Логикой выживания системы как таковой, где отдельная жизнь была лишь единицей в колонке отчётности.

Ординатор Шмидт, немолодой уже человек с обрюзгшим, землистым лицом и вечной, мокрой от слюны сигаретой в углу рта, встретил его без энтузиазма, но и без враждебности – с тем безразличием, с каким встречают новый предмет мебели, который теперь придётся обходить.

– Работать будете в третьем корпусе, ага, тифозном, – хрипло сказал он, ведя Лобынцева по бесконечным, похожим на катакомбы коридорам. – Персонал – две фельдшерицы и сиделка. Лечение – холодные компрессы, хинин, камфара. Умирают, в среднем, каждый третий. Иногда чаще. Не ваша вина. Такая болезнь. И такая схема. Сиверс её ввёл лет десять назад, после той эпидемии. Смертность тогда упала на пять процентов. Цифры – вещь упрямая. Они не врут.

– А почему именно холод? – не удержался Лобынцев, чувствуя, как внутри поднимается знакомый, горький протест. – При лихорадке, при спазме периферических сосудов... Холод может загнать болезнь внутрь, убить и без того ослабленное сердце...

Шмидт остановился и медленно, с трудом, повернулся к нему. В его мутных, усталых глазах мелькнуло не раздражение, а что-то вроде старой, заплесневелой жалости.

– Молодой коллега, – прошамкал он сквозь сигаретный дым. – Не начинайте. Схема потому и схема, что в неё не входят «почему». В неё входят «что» и «сколько». Холод снижает температуру. Температура снижается – больной чувствует облегчение. Иногда этого хватает, чтобы пережить кризис. Иногда – нет. Но метод безопасен. От холода ещё никто не умирал напрямую. А вот от нового, непроверенного лекарства, от вашего «строфантина» – запросто. Сиверс не терпит риска. Риск – это хаос. А он здесь, в этом аду, навёл порядок. Сумасшедший, мёртвый порядок, но порядок. И пока вы здесь – вы часть этого порядка. Запомните... Мне до пенсии три года, – вдруг добавил он тише, отводя взгляд в сторону сырой стены. – Я не спорю, зато делаю. И вам советую.

Третий корпус предстал перед ним кромешным адом, но адом рутинным, отлаженным, привыкшим к собственному ужасу. Длинная, низкая палата на тридцать коек была наполнена стонущими, бредящими, угасающими телами. Воздух был густым, тяжёлым, сладковато-гнилостным, пропитанным потом, испражнениями и неумолимым приближением смерти.

Лобынцев с отчаянной решимостью погрузился в работу. Он ставил диагнозы, назначал лечение, дежурил по ночам, снова чувствуя себя врачом – но врачом-винтиком, чья воля и

разум заключены в узкие, предопределённые рамки «схемы». И странное дело: чем усерднее он работал, тем сильнее к нему возвращалась знакомая крутобережская тоска – чувство бессмысленного, бесконечного кружения в колесе. Только здесь она была лишена даже той дикой, тёплой, животной жизни, что была в деревне. Здесь всё было выморожено, выхолощено, превращено в бюрократическую процедуру.

Шмидт не был злодеем; он был выгоревшим, смирившимся человеком, нашедшим жуткий покой в безупречном исполнении приказов. Сиверс оберегал свой покой, свой авторитет и свою «схему» как единственный возможный щит от хаоса и невыносимой личной ответственности. Больные умирали тихо, штатно, вписываясь в график и отчётность. Система работала. Она не спасала всех, но она гарантировала предсказуемость. А в мире, где хаос и смерть были нормой, предсказуемость, даже предсказуемость смертности, была высшим благом – и для администрации, и для запуганного, оглушённого ужасом персонала, и, как ни парадоксально, для самих больных, для которых сама эта предопределённость становилась видом странного, мучительного утешения.

И снова, в редкие минуты забытья, в полудрёме после двадцатичасового дежурства, ему являлось видение: белый пароход. Теперь он видел его чётче, яснее. На борту, там, где должно быть имя, золотом неяркого, но стойкого сияния отсвечивал одинокий, простой крест. Судно плыло по невозмутимому, тёмно-синему, как жидкий сапфир, морю, и от него исходило чувство такого безмятежного покоя и такой совершенной, почти болезненной чистоты, что у Лобынцева сжималось сердце от тоски, смешанной с невыразимой жаждой.

Перелом наступил в сизых больничных сумерках. Обходя палату при тусклом свете ночника, он остановился у койки молодого рабочего Семёнова. Тиф в самой тяжёлой, «нервной» форме. Температура за сорок, бред, геморрагическая сыпь – плохой знак. По схеме – холод, уксус, камфара. Лобынцев смотрел на синюшное, измождённое лицо, на сухие, шепчущие бессвязные слова губы, и с кристальной, почти физической ясностью осознал: этот человек умрёт к утру. Умрёт не столько от тифа, сколько от «лечения». Холод в этом состоянии был убийцей. Нужно было тепло и строфантин – рискованный, не входящий в схему препарат.

Он стоял, борясь не с совестью – с ней всё было ясно, – а со страхом. Страхом перед Сиверсом, перед изгнанием, перед крахом последних иллюзий о спокойной жизни. Но был и другой страх, древний и острый – страх врача, видящего умирающего, которого ещё можно спасти, если переступить черту.

Врач в нём взбунтовался. Он сделал укол строфантина, приказал заменить холодные компрессы на тёплые грелки. Сиделка Акулина, старая, испытанная женщина, посмотрела на него не со страхом, а с глубоким, молчаливым пониманием и сказала только: «Барин... Фаддей Лукич...» – «Я отвечаю», – отрезал он. В этих словах не было высокомерия, только принятие всей тяжести выбора.

К утру кризис миновал. Семёнов выжил. Лобынцев, стоя у его койки, чувствовал не радость, а глухое, щемящее облегчение и пустоту. Он спас человека, нарушив схему. Он ждал расплаты как освобождения от внутреннего раздора.

В девять его вызвали к Сиверсу. Кабинет, обитый тёмным дубом, казался склепом. Сиверс сидел за столом, но сегодня он был иным – не ледяным истуканом, а живым, почти нервным. Он предложил сесть и минуту молча рассматривал Лобынцева.

– Ну что, коллега, – начал он на удивление мягко, даже задушевно. – Освоились? Как вам наше хозяйство?

– Всё в порядке, Фаддей Лукич, – осторожно ответил Лобынцев.

– Не может быть всё в порядке, – вдруг усмехнулся Сиверс. – В таком месте, как наше, полный порядок – признак клинической смерти. Я вот о чём... Слышал, вы вчера проявили

инициативу. Больному Семёнову. Строфантин, тепло... Интересно. Очень интересно. С точки зрения теории, пожалуй, даже логично. Где прочли?

– Я не читал, я... видел, – с трудом выдавил Лобынцев. – В подобных состояниях холод губителен. Сосуды, сердце...

– Видели, – протянул Сиверс, и в его голосе зазвучала холодная сталь. – Вы много видели, молодой человек? Вы видели, как во время эпидемии сыпного тифа в семьдесят третьем году в одной только нашей губернии умерло три тысячи человек? А я видел. Вы видели, как люди умирали сотнями в сутки, и никакие строфантины, никакие тёплые грелки не помогали, потому что болезнь была сильнее и непредсказуемее? А я видел. Вы видели, как врачи, самые умные и талантливые, сходили с ума от чувства собственного бессилия и вешались в больничных покоях? А я видел!

Он не кричал. Он говорил тихо, но каждое слово било, как молоток по наковальне.

– И знаете, что мы тогда поняли? Что медицина – не всесильна. Что на войне с эпидемией нужна не гениальность, а дисциплина. Нужен порядок. Нужен единый, для всех обязательный план, который минимизирует потери. Да, он не идеален. Да, он кого-то не спасает. Но он спасает систему. А система в итоге спасает больше, чем разрозненные гении! Ваш Семёнов выжил. Прекрасно. Я рад за него. Но что, если завтра вы решите применить ваш метод к другому, и он умрёт? Кто ответит? Вы? Вы ответите, вас уволят, а может, и под суд отдадут. А больной-то мёртв. И вера в систему будет подорвана. Начнётся хаос. Каждый будет лечить как знает. И смертность взлетит до небес. Вы думали об этом? Нет. Вы думали о своём профессиональном тщеславии. О том, чтобы блеснуть, доказать. Спасти одного и похоронить принцип, который спасает десятки.

– Но принцип не должен быть важнее жизни! – вырвалось у Лобынцева.

Сиверс откинулся в кресле. Его лицо вдруг исказилось не злобой, а гримасой физической боли, как будто старую, застарелую рану тронули ножом.

– Молчать! – он ударил костяшками пальцев по столу – сухо, резко, как выстрел. – Кто вы такой, чтобы отменять мои предписания? Вы, мальчишка, позарившийся на чужое место по протекции? Вы думаете, я не знаю, что такое тиф? Я боролся с эпидемиями холеры и сыпняка, когда вы ещё по пелёнкам ползали и в учебники целовались!

– Но пациент жив! Ему лучше! Это факты! – попытался возразить Лобынцев, чувствуя, как его слова теряют силу в ледяной атмосфере кабинета.

– Это неважно! – прошипел Сиверс, и его птичье, сухое лицо словно застыло, окаменело в маске почти панического раздражения. – Не имеет значения, жив он или мёртв! Важно, что вы подрываете дисциплину! Вносите смуту! Ставите под сомнение авторитет и систему! Вы – опасный фантазёр, романтик, готовый погубить всё ради своего «озарения»! С сегодняшнего дня вы отстраняетесь от работы в лечебных отделениях. Пойдёте в патологоанатомическое отделение. К прозектору Прокофьеву. Пусть там режьте трупы, раз вам так нравится резать устоявшееся и нажитое! А теперь – вон отсюда!

Лобынцев вышел, не чувствуя под ногами пола. Патологоанатомическое отделение. Склеп. Конец. Запах формалина и вечного молчания вместо запаха жизни, пусть и страждущей. Он шёл по длинному, пустынному коридору, и в голове, сквозь туман унижения и ярости, пробивалась мысль: «Озлобленный бюрократ! Тормоз!» Но эти слова были плоски и пусты.

Они не объясняли той холодной, метафизической ненависти, что он увидел в глазах Сиверса. Там было что-то глубже.

И тут в памяти всплыл разговор, подслушанный месяцами ранее в чайной для младшего персонала. Старая фельдшерица Акулина, перевязывая ожог санитарке, бурчала себе под нос, кивая в сторону кабинета главврача:

«Фаддей Лукич-то... гнилой он, да не от природы. Сам из таких же, из земских псов, что на трёх парах ездят, кровью исходили. В холеру семьдесят второго в Гнилом Берегу один, как перст, полгода простоял. Когда все разбежались – и начальство, и священник, и богатеи, – он один и остался. Не спал, не ел, людей из боен да хлебов вытаскивал, сам их отмывал, сам хоронил в братских ямах. Крови, рвоты, поноса – сам исходил, потом месяц чуть не помер от истощения. А пол-уезда всё равно вымерло. Ну, приехала потом комиссия – чистенькие, в белых перчатках. Не «спасибо» сказали, а отчитали как мальчишку: «Неэффективные методы. Неоправданный расход. Отсутствие отчётности. Паника». Героя-то, едва под суд не отдали за «беспорядок» и «самоуправство». Вот он с тех пор и заболел. Не туберкулёзом – своей схемой. Как проказой. В схеме этой – всё учтено, всё расписано, смерть в графу вписана, и никто не виноват. Ни он, ни врач, ни Бог. Он не начальства теперь боится – он самого себя боится. Того, что в нём сидит и шепчет по ночам: «А может, и правда, не так надо было? Может, если бы по-другому...» А схема – она не шепчет. Она приказывает. И в её приказе есть страшное, мёртвое спокойствие. Будто и не ты вовсе решаешь. Вот он в машину и превратился. А вас, новых, с горящими глазами, ненавидит лютой ненавистью. За то, что вы ему его старую, немёртвую ещё тогда душу напоминаете. Ту, что ещё могла сгореть».

Вспомнив это, Лобынцев остановился. Гнев его не исчез, но стал тяжёлым, густым, как осадок. Перед ним встали два образа: сегодняшний Сиверс, засушенный в гербарий догмы, и тот, прежний – сгорбленный, в рваном халате, с безумием отчаяния в глазах, вытаскивающий трупы в эпидемическом аду. И эти два человека соединились в одном страшном понимании: провал. Тот всепоглощающий, экзистенциальный провал оказался настолько сокрушительным, что единственным способом выжить, сохранить рассудок, стало методично уничтожить в себе того врача, который мог этот провал допустить. Уничтожить способность к риску, к самостоятельной мысли, к живой, непредсказуемой человечности. И возвести на этих развалинах часового, жреца догмы, чья священная задача – охранять систему от любой живой, сомневающейся мысли. «Нет, – с горькой ясностью подумал Лобынцев, – не просто злой человек. Испуганный. Испуганный до самого нутра собственной прошлой неудачей, своей когда-то проявленной и растоптанной человечностью. И свой старый, незаживающий страх он теперь лечит, как страшную болезнь, заражая им всех вокруг».

Эта мысль, тяжёлая и неотвратимая, как приговор, проводила его сквозь лабиринт коридоров в самый низ, к тяжёлой, обитой железом двери с потускневшей табличкой «Патологоанатомическое отделение». Он толкнул её, и навстречу, обволакивая, пополз холодный, сладковато-едкий запах формалина – запах окончательных, бесповоротных ответов и вечного молчания. Здесь, в этом подвальном склепе без окон, ему и предстояло теперь обитать.

Глава 3. Вкус методичного поражения

За столом, заваленным фолиантами, журналами и банками с мутными препаратами, сидел прозектор Прокофьев. Он оказался полной противоположностью Сиверсу – не сухой и острый, а огромный, грузный, молчаливый, как выветренный вековой валун. Окладная, рыже-вато-седая борода, добрые, грустные, немного недоумевающие глаза быка, взиравшие на мир с немым удивлением и привычной печалью. Он казался не столько человеком, сколько воплощённой, одушевлённой тяжестью, укоренившейся в этом подвале со всеми его запахами и тишиной. Его кабинет, вернее, лаборатория, походила на склад диковин, законсервированных в приторном, застойном воздухе, но в этом хаосе царил свой, вековой и безмолвный порядок.

– Что, прогнали? – однотонно, без сочувствия и злорадства, спросил он, не глядя на Лобынцева, изучая под мощной лупой какой-то срез ткани, похожий на засохший папоротник. Голос его был низким, глухим, словно доносился из-под толщи земли. – Не горюйте. У Сиверса все, кто думать умеет, долго не задерживаются. Кому совесть шевелится – тем тут делать нечего. Садитесь. Будете помогать мне вскрывать. И учиться. На мёртвых учиться. Они, по крайней мере, спорить не будут и в доносы писать не станут. Здесь правда одна – та, что на столе. Её не оспоришь циркуляром.

Так началась новая, подземная жизнь Лобынцева. Он приходил в сырой, холодный подвал, где вечный полумрак нарушался лишь резким электрическим светом, любуясь из голых ламп на потолке. Надевал прорезиненный фартук, пахнувший химикатами и старостью, и проводил часы над холодными мраморными столами, под ярким, безжалостным светом, не оставляющим места полутонам. Он вскрывал, исследовал, диктовал Прокофьеву сухие, лаконичные протоколы, в которых человеческая трагедия сводилась к перечню изменённых тканей и патологических заключений.

Сначала его трясло от запаха формалина и тления, мутило, по ночам снились эти разрезы – точные, безжалостные, как географические карты стран, из которых нет возврата. Потом пришло оупение, механическая, почти бесчувственная привычка руки, движущейся независимо от содрогающейся души. А затем – странное, почти мистическое понимание и своеобразная ясность. Мёртвые тела открывали ему тайны, которых не могли или не хотели открыть живые. Здесь не было места лести, страху, искажённой воле родственников или высокомерию начальства. Здесь была лишь причинно-следственная цепь, вытравленная на внутренних органах, как неумолимая надпись на скрижалях.

Он видел последствия неверного диагноза – почку, сжатую опухолью, которую приняли за воспаление; скрытые патологии сердца, оборвавшие жизнь на пороге выздоровления; упущенные шансы, когда своевременный, пусть и рискованный, разрез мог бы спасти. И всё чаще – следы той самой «схемы», доведённой до логического конца. Вот лёгкие, пропитанные ядовитой краской от бездумного применения какого-нибудь «проверенного» ртутного препарата; вот печень, разрушенная лошадиными дозами хинина, введённого по графику, невзирая на индивидуальную непереносимость; вот сердце, разорванное не болезнью, а камфарой, вколотой в уже не выдерживающий стимуляции организм.

Каждый труп был немым, но неумолимым укором укладу, главврачу, а иногда – при внимательном рассмотрении – и ему самому, его прошлой покорности, его страху возразить, его молчаливому согласию с очевидной глупостью. Он учился. Но это было знание мрачное, бесплодное, ибо применять его к живым ему уже не давали. Он стал архивариусом катастроф, летописцем тихих, ежедневных убийств, совершаемых с благими намерениями и по всем правилам.

Именно в подвале, среди банок с формалином, заспиртованных уродств и вечного полумрака, он снова увидел Того. Это было поздно вечером. Прокофьев уже ушёл, бросив на про-

щение своё обычное: «Не засиживайтесь, барин. Мёртвые подождут». Лобынцев заканчивал описание вскрытия молодой женщины, умершей от послеродовой горячки – сепсиса, который можно было предотвратить элементарной чистотой, но акушерка, пьяная и невежественная, занесла заразу, а в больнице её лечили кровопусканиями, «чтобы унять жар». Он писал, и каждая строчка жгла пальцы, как раскалённый уголь.

Внезапно, кожей спины, он почувствовал на себе тяжёлый, недвижимый, почти осязаемый взгляд. Это не было чувство присутствия – это было чувство изучения, холодного, пристального, лишённого всякой человеческой теплоты.

Он медленно поднял голову от бумаг.

В дальнем углу подвала, за высоким стеклянным шкафом с небольшой коллекцией уродливых, остановившихся в развитии зародышей – немymi свидетелями иных, несостоявшихся жизней, – стояла Она. Та самая высокая, невероятно худая фигура в развевающемся, струящемся одеянии цвета ночи без звёзд. Контурсы её по-прежнему дрожали и размывались на грани зрения, как дрожит воздух над раскалёнными камнями, но теперь, пристальнее взглядевшись, Лобынцев различил нечто вроде лица. Вернее, его подобие – бледное, удлинённое, без глаз, просто два глубоких, абсолютно чёрных, втягивающих свет провала. И это безглазое лицо было обращено прямо на него.

Ледяной, знакомый по станции «Раздолье» ужас, но теперь уже лишённый элемента неожиданности, сковал его, пригвоздил к месту. Он не мог пошевелиться, не мог издать звук. Дыхание застряло в горле, превратившись в тонкий, свистящий поток. Фигура не двигалась, просто стояла, излучая немое, нечеловеческое, но пристальное внимание, будто изучала его так же, как он только что изучал препарат под микроскопом – как объект, как феномен, как интересный случай.

Длилось это, возможно, секунды, возможно, минуты – время в подвале, среди остановившихся часов жизни, текло иначе, густело, как застывающая кровь. Потом лампочка под потолке, старая и плохая, мигнула, и в этот миг дрогнули тени. Когда свет восстановился, фигура исчезла. В углу была лишь пыль, да тень от шкафа, да чёрное пятно засохшей грязи на каменном полу.

Лобынцев выбежал из подвала, задыхаясь, как после долгого ныряния в ледяную воду. Он поднялся в свой номер, налил из графина полстакана тёплой, жгучей водки и выпил залпом, чувствуя, как обжигающая влага не согревает, а лишь подчёркивает внутренний холод. Руки дрожали мелкой, неконтролируемой дрожью, и он сжал их в кулаки, упираясь в край мраморного умывальника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.